



БОРИС
СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИИ
СЛУЦКИЙ



БОРИС СЛУЦКИЙ

*Новая книга
Слуцкого*

СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1969

В этой книге — стихи о войне, пережитой двадцатилетним юношей так, как она видится сейчас, почти через тридцать лет; стихи о стихах и поэтах (впервые собран воедино цикл о поэте Михаиле Кульчицком); стихи о жизни людей, которые не пишут, а читают поэзию; наконец, размышления о пережитом и переживаемом.



* * *

Россия увеличивала нас:
ее штабы, ее масштабы,
ее поля, ее баштаны,
ее Урал, ее Кавказ.

И самые обычные слова
становятся необычайны,
когда подхватывает их Москва:
от радиовещания до чайной.

ЧИТАЛЬНЯ НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

Ваяющие

мало наваяли.

Паяющие

больше напаяли.

Покуда все газеты, все журналы
переберу в читальне до листка,
сосед мой погружен в анналы
известий радиокружка.

Я думаю, куда идти и с кем,
кого избрать мне в критики и в спутники.
А мой сосед зарылся в груды схем:
он изучает винтики и шпунтики.

Здесь, в комнате, уже почти родной
(как на работу он с работы ходит),
и отпуск свой провел очередной
и каждый вечер за столом проводит.

Пока по макромиру я брожу,
он в микромире разберется с толком.
Глядишь — моторчик с переменным током
стоит в его пристройке к гаражу.

Нет, мне его высмеивать нельзя:

ваяющие мало наваяли,
лаяющие больше напаяли.

Потомки разберутся, где стезя,
где просто блажь —
его, моя ли.

* * *

Брали на обед по три вторых,
первого ни одного не брали.
«Трали-вали», — говорит старик,
инвалид, участник поля брани.

Смотровые ордера
получали в райсовете.
По сто граммов хлопали с утра.
Не боялись никого на свете.

Обсуждали изредка судьбу.
Смело командирам возражали.
И с большим достоинством в гробу
в выходных костюмах возлежали.

Лесорубы из Карелии,
курский соловей, псковский печник —
псы семи держав
как угорелые
бегали от них.

* * *

Целый класс читает по слогам
хором. Что-то новое и важное.
Шелестит торжественно бумажное,
весело душевное поет.
Души формируются отважные,
зрелость постепенно настает.
Зрелость постепенно наступает,
словно осторожный командарм,
а покуда — целый класс читает,
целый класс
 читает по слогам.

МОСКОВСКИЕ РАБОЧИЕ

Московские рабочие не любят,
когда доклад читают по бумажке,
не чтят высокомерные замашки,
не уважают,

если кто пригубит
серьезное,
скользнет, хвостом вильнет
и дальше, вдоль по тезисам рванет.

Московские рабочие, которые
могли всю жизнь

шагов с пяти
глядеть,
как мчится вдаль всемирная история,
рискуя их самих
крылом задеть,
не любят выдумки, не ценят выверта.
Идете к ним — точнее факты выверьте!

Не обмануть московских работяг,
в семи водах изрядно кипяченных,
в семи дымах солидно прокопченных
и купанных в семи кровях.

К вранью не проявляют интерес!
Поэтому и верю я в прогресс.

* * *

Народ переходит на шляпу — с кепки.
Народ переходит на шляпку — с платка.
Зато по-прежнему цепко и крепко
влиянье народного говорка.

Большие фабрики производят
по миллиону костюмов в год.
В модерном давно уже люди ходят —
«модерный»

производи от мод.

Не вижу дурного, что с завода
спешат на стадион и в кино,
хотя готов водить хороводы
и петь сочиненное очень давно.

Народ течет, как река большая,
вбирая в себя миллион ручейков,
никого не заушая,
спокойно решая, кто каков.

НЕГР В МОСКВЕ

Что думает негр из Конго и Того,
здоровый, как сгусток электротока,
активный и напряженный, как нерв,
черный, как обожженный, негр?

Он ходит по Центру и по бульварам.
Он по Садовому ходит кольцу.
Москва, с ее громом, пылом, жаром,
ему по нраву, ему к лицу.

Он бодро выстаивает в пельменных
среди соплеменных
и иноплеменных,
но что он думает, когда скалит
зубы, белые, как январь?
Что его радует, что печалит?
Кто он —
начетчик, франт, бунтарь?
Будущий министр? Грядущий
заключенный в гнилой тюрьме?
Этот негр,
по Москве идуидий,
что-то держащий у себя на уме.

У МОСТА

Затор. Сперва затормозило
одну переднюю.
Потом шоссе затормозило:
грохочут прения.

Да, громяют аргументы
в устах шоферов.
Ругаются, как у Гомера, —
шоферский норв.

Зерно. Зерно, наверно, в тысяче
тяжеловозов,
пшеничный запах всюду тычется:
зерно совхозов,

спешащее на пароходы
или на склады:
большие, как поля охоты,
дворцы-палаты.

От понимания величия
в преддверье славы
вдруг воцаряется приличие
у переправы.

И словно мысли промельк гневный
спешит по мозгу;
так сытый, мощный запах хлебный
спешит по мосту.

ХЛЕБ

Шел разговор о хлебе:
о том,

о самом главном,
насушном и едином,
планированном плане,
на целине растущем,
важнейшем до сих пор.
О хлебе о насушном
был разговор.

Не только энергетика
решит судьбу людскую,
и

с этикой эстетика
не смогут ни в какую,
когда не будет хлебушка
зеленого весной,
а летом — золотого,
горячего от зноя.

Когда не будет хлеба
с горячими щеками,
идущего в атаку
бессчетными полками.

Пока не крикнут сдобы,
большие, как сугробы,
и белые как снег:
«Нас много, очень много!
Нас хватит на всех!»

СТРАХ

Чего боится человек,
прошедший тюрьмы и окопы,
носивший ружья и оковы,
видавший

новой бомбы

сверк?

Он, купанный во ста кровях,
не понимает слово «страх».
Да, он прошел сквозь сто грязей,
в глазах ирония змеится,
зато презрения друзей
он, как и век назад,
боится.

* * *

Вторая Россия — та, что выстроена
в наши личные времена,
та, что из бараков выселена,
та, что в дома поселена.

Вторая Россия — шлакоблочная,
не деревянная, не кирпичная,
от первой России очень отличная,
но все-таки добротная,
прочная.

Новые города — батальоны
одинаковых, как солдаты, домов,
похожие на библиотеки, районы:
целые полки ровных томов.

Каждый пятый дом — «Молоко».
Каждый десятый дом — «Мясо».
А все-таки дышится легко,
потому что удобств — масса.

Следующее после нас поколение,
осуществляя свои мечты,
пусть оно борется за покорение
не только комфорта, но — красоты.

ПОДПИСИ ПОД ДОМАМИ

Каменную макулатуру
трудно сдать в утиль.
Мраморную одежду
слишком долго донашивать.
Землетрясений тоже
в центре России нет.
Будут стоять колонны,
здания приукрашивать.
Будут глаза мозолить,
будут портить вид.
Будущие поколения
это не раз удивит.
Поэтому, товарищи
градостроители,
тщательно продумывайте
наши обители.
Чтобы только по совести
всем вам себя вести,
надо было бы подписи
под домами ввести.

* * *

Если вся рота идет не в ногу,
а прапорщик Иванов — в ногу,
может быть, не права рота,
может быть, не прав прапорщик.
Всегда не прав сочинитель истории,
сочинивший историю,
где ни один прапорщик
никогда
ни на один шаг
не обгонял свою роту.
Лично мне, образно говоря,
хочется подойти к прапорщику,
представиться, попросить прощенья —
мол, отрываю от дела;
пускай разъяснит в подробностях,
почему он шел не в ногу.
Только таким образом
следует сочинять исторические сочинения.

ДОМ

Молодой человек с разговорником,
крепко сжатым в руке,
разговаривает с дворником
на своем полуязыке.

Адрес, вызубренный с младенчества,
повторяется без молодчества.

Дворник недопонимает,
после полупонимает,
но внезапно его озаряет,
озаряется дворник весь.
Он метлой об асфальт ударяет,
объявляет пришельцу: «Здесь!»

Двор московский с начала столетья
никоторого великолепия
не утратил и не приобрел.
Наконец он сюда забрел.

Дом большим казался в Париже,
оказался же он пониже,
но, конечно, именно тот.
— Кто, скажите, в доме живет?
— Люди! —

Дворник точно и дельно
отвечает:

— Жильцы живут. —

И под этот ответ идейный
тучки по небу тихо плывут,
детвора играет в квадрате
коммунальнейшего песка.

— Бога ради.

Бога ради.

Бога ради.

Какая тоска!

Вихри радости, жалости, совести
навсегда отшумели уже.
Чувство Родины с чувством собственности
тихо спорят в душе.

Он отцу обещал,
клялся матери,
франк за франком деньги копил,
а теперь это все истратили —
нетерпенье, жадность, пыл.
Двор как двор,
и дом как дом.
Тучки по небу тихо ходят.
Отрывая ноги с трудом,
навсегда со двора он сходит.

* * *

Высоковольтные башни,
великие, словно Петр,
стоят в грязи по колено,
до края бетонных ботфорт.

Дожди их зря оплакивают:
почетнее нет стези.
Они, словно Петр, выволакивают
Отечество
из грязи.

НОЧНОЙ ФУТБОЛ В МУРМАНСКЕ

Сон — покой, идеальный порядок.

Сон похож на средневековье.

Сон — равнение на парадах

с плавно

в жилах

плывущей

кровью.

Я проснулся от точного чувства

беспорядка и непокоя.

Вспомнил — в Мурманске я. Очнулся.

Посмотрел в окно: что такое?

Было два часа ночи.

Было

очень поздно, и страшно было.

Серый свет, нет, сероватый,

заливал простор сыроватый,

затоплял собой котловину,

род естественного котлована,

тот, где город стоит. Лавина

света

Мурманск весь заливала.

Я подумал: в месяце мае

в Заполярье — белые ночи.

Очень просто. Можно ложиться.

Дело было не так уж просто:

под окном в два часа ночи

футболисты детского роста

мяч гоняли что было мочи.

На,
как Красная площадь,
огромной
площади,
очень ровной и точной,
словно дуб среди долины ровной,
рос футбол,
шел матч полуночный.
Мяч взлетал, и матч продолжался.
Дети знали: дремлют в отеле.
Матч подальше от окон жался:
разбудить меня не хотели.
Темноватой земли отростки,
бледноватые были дети,
но играли в футбол подростки
здесь,
как и повсюду на свете.
Несмотря ни на что: на то, что
полюс Северный очень близко
и зеленого мало кошту
(витамины — лук да редиска) —
продолжался матч полуночный
на площадке, солнцем багримой,
и удар был сильный и точный
и защита — необоримой.
Я, уставший после дороги,
не хотел от окна оторваться:
высоки были эти отроги
человечьего доброго братства.

* * *

Восхищенье предыдущим поколеньем,
недовольство вслед идущим поколеньем,
тем, что на подходе:
это — в давнем обиходе.
Все же люди ошибаются.
Жаль, не вызывает интереса,
как все это уживается
с формулой всеобщего прогресса.
Неужели прадеды получше
правнуков,
тем более праправнуков?
Разве мы такой итог получим,
если подсчитаем и посравниваем?
Мы еще в начале самом повести.
Будем со счастливым удивлением
вглядываться в новости,
связанные с новым поколением!

КРУГОСВЕТНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

О земля! Я тебя узнавал постепенно!
О высокие камни соборов твоих!
О приморских бульваров белесая пена!
О смиренные камни твоих мостовых!

Желтый цвет Ленинграда
и красный — Москвы.

Черепицы Белграда
под сенью листвы.

Города моих странствий, страстей и стараний,
где хорошим, плохим и обычным я был,
где был счастлив, несчастлив, удачлив и ранен,
где был должен погибнуть — и все-таки жил.

Я стада монументов земли огибаю,
чтобы вспомнить про маленький памятник в Байе.

В придунайском местечке без всяких примет
установлен сей трогательный монумент.

То — чугунный крестьянин обычного роста.

Рядом — шар. Этот шар, несомненно, земной.

Так за что же крестьянин отмечен страной?

Награждение объясняется просто.

Он когда-то из Венгрии вышел пешком
и с заплечным мешком

на восток устремился,

целый мир обошел и, гремя посошком,

умирать возвратился туда, где родился.

А земля поклонилась тому земляку,
дорогому до слез и родному до дрожи.

Насбирали по мелочи, по пятаку
горожане
на шар
и на статую тоже.
Чтобы тот, кто с родимой страной
не поладил,
сдуру, смолоду
пыль ее с ног отряхнул,
возвратился
и шарик чугунный погладил,
постоял, подумал, вздохнул.

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Изучить язык так же трудно,
как, бывало, добыть «языка»:
грамматика

тверже корунда,
алмазная фонетика.

Вырабатываются свойства,
чем-то родственные геройству,
и, как в жароупорном тигле,
прокипячиваются в сознании
падежи, предлоги, артикли,
знак вопроса, знак восклицания.
Не спеша, как переселенцы,
привыкают к земле чужой —
то выкидывают коленца,
то серьезно, с открытой душой.

Годы долгие

землю роешь,
чудеса терпения творишь,
но внезапно рот раскроешь
и испуганно заговоришь.

ТОВАРИЩ ГАБДАНК

Матрос, которому был доверен
Герберт Уэллс в двадцатом году,
не злоупотребил доверьем:
провез Уэллса сквозь всю беду.

Провез сквозь голод прилично сытым,
Прилично чистым провез сквозь вшей.
Матрос был в чувстве долга воспитан —
литовец из красных латышей.

Уэллса и чемоданов груду,
такую, что еле вез паровоз,
по радищевскому маршруту
согласно приказу матрос провез.

Таскал ему в чайнике кипяточек,
готов был добывать докторов.
На станциях из тире и точек
выстукивал: «Уэллс — здоров».

Россия иззябла и прохудилась.
Она тогда выходила из мглы.
Но перед Уэллсом не устыдилась:
показывала любые углы.

Часами,
 приклеившись лбом громадным
к стеклу,
 Уэллс смотрел во тьму.

Нечитаным великим русским романом
Россия мерещилась ему.

К своей известной книге готовясь,
Уэллс обдумал разруху с бедой,
но не укладывался литовец,
не помещался матрос молодой.

Он и Ленин мешали карты,
не умещались в его прогноз —
Ленин и ленинские кадры,
в том числе молодой матрос.

Оказалось: пророчества зыбки,
не осуществляются никак,
а книга памятником ошибки
великой
будет стоять в веках.

* * *

Не отвечаем за родителей,
зато вольны в учителях.
Вольны усвоить и отвергнуть,
вольны запомнить и забыть.

Оценки, те, что нам поставят,
и те, что мы поставим им —
учившим нас и научившим,
от нас зависят и от них.

СВЕРСТНИКАМ

Широкоплечие интеллигенты —
Производственники, фронтовики,
Резкие, словно у плотников, жесты,
Каменное пожатье руки.

Смертью смерть многократно поправшие,
Лично пахавшие столько целин,
Лично, непосредственно бравшие
Столицу Германии — город Берлин.

Тяжелорукие, но легконогие,
Книжки перечитавшие — многие,
Бревна таскавшие — без числа,
В бой на врага поднимавшие роту —
Вас ожидают большие дела!
Крепко надеюсь на вашу породу.

* * *

Музыка на вокзале,
Играющая для всех:
Чтоб мимоездом взяли
Плач на память и смех.

Многим ты послужила,
Начатая давно,
Песенка для пассажиров,
Выглянувших в окно.

Диктор какой-то нудный
Рядом с тобой живет:
Еже-почти-минутно
Режет тебя и рвет.

Все же в транзитном зале
Слушают не дыша.
Музыка на вокзале!
Значит, ты — хороша.

Значит, гудки не мешают
Песне греметь с утра.
Музыка, ты — большая.
Музыка, ты — добра.

Не уставай, работай!
Век тебя слушать готов:
Словно море у борта,
Музыка вдоль поездов.



Кого — исконный, кого — искомый,
кого — привычный и знакомый,
кого — из ряда вон выходящий,
зато — грядущий и предстоящий
привлекает путь.

Кому — шоссе, кому — проселок,
кому же — песня о новоселах,
земли неведомой проходка,
металла трудная прокатка.

Кто — порученец. Кто — поручитель.
Кто — выученик. Кто — учитель.
Кто — порох выдумает лично.
Кому же — это безразлично.

Делю людей на классы, расы,
на племена и на народы,
но также и на эти, сразу
в глаза вам бьющие
породы.

СВЕТЛЫЕ ОКНА

Рай боттичеллиев — зал гимнастический:
десятиклассницы с влагой гностической
в темных и светлых прекрасных глазах —
с ветки на ветку,
как птицы в лесах!

С ветки на ветку,
с бруса на брус
в темных и светлых костюмах спортивных!
Рай молодых и активных. Спортивных.
Как он блондинист, брюнетист и рус!

Здесь не веселье, а счастье.
Не сила —
счастье. И счастье, а не красота.
То, что Икара под солнце носило,
то, что хоралы пело с листа.
Тени прекрасно скользят по стене,
в ритме блаженства движется тело
времени — вне,
времени — вне,
вот не взлетело оно — взлетело!
Вот воспарило оно до небес!
Вот оно кануло наземь
и сразу
падает к небу тяжести без,
огненно чертит во тьме свою трассу!
Видимо, люди летали всегда,
до изобретенья аэроплана.

В этом сплетенье тел и таланта
горе — не горе,
беда — не беда.

Молча у окон сияющих стану.
Из глуби воспоминаний достану
дом во Флоренции.
Я молодой
пялю глаза на «Весну» Боттичелли.
Я молодой, незнакомый с бедой!
Есть ли на свете беда, в самом деле?

Нет ничего, кроме «Весны».
Резкою явью становятся сны.

* * *

А в городе строительство бушует.
И план его кромсает и тушует,
его столетий разрывает вязь
и смахивает старину, смеясь.
Я рос и вырос в давней круговерти,
где люди жили от родин до смерти,
и глаз не поднимали от земли,
и, выпивши,

домой на память шли.

А ныне возвратившийся из странствий
заблудится в междуличном пространстве.
А ныне

бульдозеры пластают,
кромсают, четвертуют пол-Арбата,
и чья-то грубая рука листает
моих томов, моих домов громады.
Неузнаваемы,

неразличимы местности,
описанные столько раз в словесности
родной,

ее стихах, ее романах.

Как будто бы при зрительных обманах,
присутствую я при преображенье,
похожем и на светопреставленье:
былой Москвы последнем пораженьи
и будущей Москвы

установленьи.

* * *

Женщина заплакала. У нее
были, видимо, свои проблемы.
Но вагон метро молчал,
занятый проблемами своими.
Кто сочувствовал,
но про себя.
Кто в душе тихонько раздражался,
потому что плач —
очень часто разновидность просьбы.
Между тем
этот плач был вроде пенья птицы,
или шума ветра,
или шелеста снежинок.
Слезы шли и перестали.
Выглянула робкая улыбка,
и всему вагону стало лучше.
У вагона отлегло от сердца.

* * *

Все образуется, устроится.
В муку-крупчатку перемелется.
Москва — и та веками строится,
Так что уж нам с Москвою мериться!

Разлаженное — все наладится,
Обиженное — все заплатится,
И Золушка в дешевом платьице
Рукой за счастьеце ухватится.

Все женщины, мужьями брошенные,
Повыйдут замуж с повышением,
Все просьбы, многократно прошенные,
Отвергнутые с поношением, —
Исполнятся.

1

* * *

Мир, как дом, был досрочно принят —
без проводки и санузла,
брошен в бездну,
в Галактику ринут,
помещен меж добра и зла.

Скользкий, шарообразный, покатый,
заведенный, чтобы кружить.
Говорят, что очень богатый.
Почему на нем трудно жить?

Мы над ним кружимся роем,
словно бабочки над огнем.
И когда еще благоустроим,
заведем порядок на нем?

РАДИ ПОРЯДКА

Падал снег из самых белых,
из белейших в мире снежинок.
Вся округа была в пробелах.
Все поля были в белых зайцах.

В шапки соединялись хлопья,
в капелюхи или треухи.
Нахлобучив их, исподлобья
на снежинки столбы глядели.

Снег был белый. Белее снега
и белее всего на свете.
Не придумашь ради смеха,
с чем сравнить белизну такую.

Над всеобщую белизною
осторожно всходило солнце,
но не ради свету и зною:
исключительно ради порядка.

МАРТ

Каждый день день прибывает,
убавляется ночи тень,
словно солнышко прибывает
по минутке ко дню каждый день.

Еще птицы не запели,
но капли не утерпели
и поют, поют про свое
переливчатое житье.

Снег — небритой щеки серее,
а земля — все теплее, сырее,
а зима — совсем не зря
удирает из календаря.

Ото дней до сих пор коротких
и от палой, прелой листвы
самый первый в Москве курортник
уезжает уже из Москвы.

ОСЕНЬ

Груши дешевы. Пухнут склады.
Понижений ценъ не счесть.
Даже самой скромной зарплаты
хватит вволю груш поесть.
Яблок много. Крупных, круглых,
от горячего солнца смуглых,
зеленеющих в кислоте,
и недороги яблоки те.
Все дешевле грибов. Грибы же
тоже дешевы и крупны.
Осень жаркой радугой пышет.
Рынки, словно крынки, полны.
Осень — это важная льгота
населению городов.
Это лучшее время года.
Осень. Я ее славить готов.

ПОНЯТНЫ ГОЛОСА ВОДЫ

1

Понятны голоса воды
от океана до капли,
но разобраться не успели
ни в тонком теноре звезды,
ни в звонком голосе Луны,
ни почему на Солнце пятна,
хоть языки воды — понятны,
наречия воды — ясны.

Почти домашняя стихия,
не то что воздух и огонь,
и человек с ней конь о конь
мчит,
и бегут валы лихие
бок о бок с бортом, с кораблем,
бегут, как псовая охота!
То маршируют, как пехота,
то пролетают журавлем.

2

Какие уроки дает океан человеку!
Что можно услышать, внимательно выслушав реку!
Что роду людскому расскажут высокие горы,
когда заведут разговоры?

Гора горожанам невнятна.
Огромные красные пятна
в степи расцветающих маков
их души оставят пустыми.
Любой ураган одинаков.
Любая пустыня — пустыня.

Но море, которое ноги нам лижет
и души нам движет,
а волны морские не только покоят, качают —
на наши вопросы они отвечают.
Когда километры воды подо мною
и рядом ревет штормовая погода,
я чувствую то, что солдат, овладевший войною,
бывалый солдат сорок третьего года!

ЛЕТО

Стрелочка какая-то запрыгала.
Внутренняя музычка запела.
Солнышко веснушками забрызгало.
Это лето и меня задело.

Значит, и меня разодолжило
листьями и травами, цветами.
Дождичком июльским раздождило,
ветками в чащобах захватало.

Отпуск!

Мол, держали — отпустили.

Отдых!

Отдышаться можно, значит,
стогреться от январской стыни,
той, которой этот год был начат.

Даже воскресенье — воскресение
силы, ее выезд, выкат,
что-то летнее в нем и весеннее.
В выходном деньке всегда есть выход.

* * *

На что годится ночной автобус?
На то, чтобы ехать в ночные дали
и музицировать новый опус,
который люди еще не издали.

В каком-то полумраке, полу-
свете и полутиси, полу-
шуме, от потолка до пола,
мы, пассажиры обоего пола,

мы, полумысля и полудремля,
вытягиваем поудобней ноги,
пока автобус звенящей дрелью
вонзается во тьму дороги.

Ядро замедленного полета,
большою рыбиною светлоглазой,
он рвется, словно бы из полону,
блистая окнами из плексигласа.

Как дрель, как летний шмель гудящий,
как форум, если полный кворум.
Откуда-то из тьмы грядущей,
чреватый предвкушеньем долгим
всего, что мы назвали домом.

БОЛЬШОЙ МАСШТАБ

Масштабы Штаба Генерального,
масштабы карты полушарий, —
а после карты неба звездного —
своим масштабом поражали,
своим размахом, махом крыл своих,
своим

не лесом, а тайгою,
своим

не боем, а войною,
своим

не снегом, а пургою.

Как яхонты или как лалы,
как звания или чины,
так вдохновляло, впечатляло
величие величины.

Внушали гордость или радость
и преданность, навеки — верность,
в бескрайнем — самая бескрайность,
в безмерном — именно безмерность.

Три измерения, и каждое
дается с щедростью такой!
С извечной, неизбывной жаждою
впивает космос род людской.

Да, что-то нам склоняет головы
в присутствии объема голого.



СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ПОЭТАМ

Я пока за стихи получаю вперед,
но когда-нибудь счет оплачу.

Пассажирский вместительный самолет:
из Москвы в Ленинград я лечу.

Мой сосед полистал, повертел «Огонек»
и со скукой его положил.

— Сколько платят поэтам? — спросил паренек.
Любознательный был пассажир.

— По семи, по четырнадцати, по двадцати
за любую строку нам дают.

Наломаетесь, придешь и заявишь: — Плати!
— И дают?
— Прямо в руки суют.

— А за что?
— А за вредность профессии. За
красивые наши глаза,

что годам к тридцати потухают. Скорей,
чем у плотников и слесарей.

Нам, в горячем цеху, не дают молока,
и поэтому так вздоржала строка.

И еще: средний возраст, который у нас
в этом веке двадцатом, таков,

что ни летчик, ни сварщик, ни верхолаз
не завидуют, если толков.

И еще — за рожон. Почему за рожон?
Это знать вам пока ни к чему.

Пассажир замолчал, повздыхал, поражен.
И задумался: почему?

ПЛАСТИНКА

Долго играет долгоиграющая,
долго, словно поездка на долгих.
Дол и гора еще.
Дол и гора еще.
Долго.

Музыка — как по ухабам и рытвинам
путь:

 без края, конца, предела.
Тонким, режущим душу, бритвенным
голосом
 женщина что-то пела.

Впрочем, неважно, что такое,
были бы звуки — острые, резкие.
Точное чувство непокоя
вдруг возникает в начале поездки.

Вдруг возникает и не оставляет
в медленном, словно вращенье земное,
в медленном ходе пластинки. Цепляет
что-то меня. Уходит со мною.

Музыка за руку провожает.
Словно колесами переезжает.

* * *

Где-то на перекрестке меж музыкой и наукой,
поэт, ищи поэзию,

выкликай, ауйкай!

Если этот поиск

тобой серьезно начат,

следующее правило

следует заучить:

стих не только звучит.

Обязательно — значит.

Стих не только значит.

Необходимо — звучит.

БОТИНКИ МАЯКОВСКОГО

Сорок седьмой номер:
огромные, как сапоги.
К ботинкам Маяковского
не подобрать ноги.

Ботинки Маяковского
носить не смог никто.
Кроме того, осталось
его пальто.

Кроме того, остался
его пример,
но больше человеческого
его размер.

В маленькой квартирке —
маленький музей:
вещи Маяковского,
книги его друзей.

Чашечки Маяковского
на полочках стоят.
Сколько меду и яду
чашечки таят?

Кроме того, ботинки,
кроме того, пальто.
Чашу Маяковского
не осушил никто.

* * *

В эпоху такого размаха
столкновений добра и зла
несгораема только бумага.
Все другое сгорит дотла.

Только ямбы выдержат бомбы,
их пробойность и величину,
и стихи не пойдут в катакомбы,
потому что им ни к чему.

Рифмы — самые лучшие скрепы
и большую цепкость таят.
Где развалятся небоскребы,
там баллады про них устоят.

Пусть же стих подставляет голову,
потому что он мал, да удал,
под почти неминуемый удар
века темного,
века веселого.

ЧЕТВЕРО

Уитмен, Есенин, Брехт, Хемингуэй
были санитарями в госпиталях.
Кровь, бинты, карболка, гной
застряли в памяти у всех четырех.

Всю жизнь жуя этот сюжет,
всю жизнь умалчивая о нем,
они всю жизнь, всяк на свой лад,
что-то о нем говорили нам.

Тот, кому хоть раз запáх
зáпах милосердия для широких масс,
тот этим запахом так пропах,
как войной планета Марс.

Тот, кто хоть раз услышал крик:
«Господин доктор, пристрели меня!» —
тот этим криком так набряк,
как кровью бинт на большой войне.

Оброненные наступлением
или брошенные отступлением,
нависающие, как Рок,
раненые
встали над вступлением
в литературу
их, четырех.

* * *

Солнечные батареи
и большие поэты
работают прямо от солнца.
А прочие батареи
и маленькие поэты
нуждаются в перезарядке:
в перезарядке славой,
в перезарядке водкой,
в перезарядке током
или чужим толком.

ДУХОВЫЕ ОРКЕСТРЫ

Духовые оркестры на дачных курзалах
И

на вдаль провожающих войско
вокзалах,

Громыхайте, трубите, тяните свое!
Выдавайте по пуду мажора на брата
И по пуду минора —
Если боль и утрата.
Выдавайте, что надо,
Но только свое.

Ваши трубы из той же, что каски пожарных,
Меди вылиты,

тем же пожаром горят.

Духовые оркестры! Гремите в казармах,
Предваряйте и возглавляйте парад!
Бейте марши,

тяжелые, словно арбузы!

Сыпьте вальсы

веселой и щедрой рукой!

Басовитая, мужеподобная муза

Пусть не лучше,

так громче

будет всякой другой.

Духовое стоит где-то рядом с душевным.

Вдохновляйте на подвиг

громыханьем волшебным.

Выжимайте, как штангу тяжелоатлеты,

Тонны музыки
 плавно вздыматься должны.
Космонавтам играйте в минуту отлета
И встречайте солдат,
 что вернулись с войны.

МОИ ТОВАРИЩИ

Сгорели в танках мои товарищи —
до пепла, до золы, дотла.

Трава, полмира покрывающая,
из них, конечно, произросла.

Мои товарищи на минах
подорвались,

взлетели ввысь,

и много звезд, далеких, мирных,
из них,

моих друзей,

зажглись.

Они сияют, словно праздники,
показывают их в кино,
и однокурсники и одноклассники
стихами стали уже давно.

ПАМЯТИ ПОЭТА МИХАИЛА КУЛЬЧИЦКОГО

ПРОСЬБЫ

— Листок поминального текста!
Страничку бы в тонком журнале!
Он был из такого теста —
Ведь вы его лично знали.
Ведь вы его лично помните.
Вы, кажется, были на «ты».

Писатели ходят по комнате,
Поглаживая животы.
Они вспоминают: очи,
Блестящие из-под чуба,
И пьянки в летние ночи,
И ощущение чуда,
Когда атакою газовой
Перли на них стихи.
А я объясняю, доказываю:
Заметку б о нем. Три строки.

Писатели вышли в писатели.
А ты никуда не вышел,
Хотя в земле, в печати ли
Ты всех нас лучше и выше.
А ты никуда не вышел.
Ты просто пророс травой,
И я, как собака, вою
Над бедной твоей головою.

ДЕКАБРЬ 41-го ГОДА

Та линия, которую мы гнули,
Дорога, по которой юность шла,
Была прямою от стиха до пули —
Кратчайшим расстоянием была.
Недаром за полгода до начала
Войны

мы написали по стиху
На смерть друг друга.
Это означало,
Что знали мы.

И вот — земля в пуху,
Морозы лужи накрепко стеклят,
Трещат, искрятся, как в печи поленья:
Настали дни проверки исполненья,
Проверки исполненья наших клятв.
Не ждите льгот, в спасение не верьте:
Стучит судьба, как молотком бочар.
И Ленин учит нас презренью к смерти,
Как прежде воле к жизни обучал.

ГОЛОС ДРУГА

Давайте после драки
Помашем кулаками:
Не только пиво-раки-
Мы ели и лакали.
Нет, назначались сроки,

Готовились бои,
Готовились в пророки
Товарищи мои.

Сейчас все это странно,
Звучит все это глупо.
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
Фанерный монумент —
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд.

За наши судьбы (личные),
За нашу славу (общую),
За ту строку отличную,
Что мы искали ощупью,
За то, что не испортили
Ни песню мы, ни стих,
Давайте выпьем, мертвые,
Во здравие живых!

* * *

Высоко он голову носил.
Высоко-высоко.
Не ходил, а словно восходил,
Словно солнышко с востока.

Рядом с ним я — как сухая палка
Рядом с теплой и живой рукой.
Все равно — не горько и не жалко.
Хорошо! Пускай хоть он такой.

Мне казалось, дружба — это служба.
Друг мой — командирский танк.
Если он прикажет: «Делай так!» —
Я готов был делать так — послушно.

Мне казалось, дружба — это школа.
Я покуда ученик.
Я учусь не очень скоро.
Это потруднее книг.

Всякий раз, как слышу первый гром,
Вспоминаю,
Как он стукнул мне в окно: «Пойдем!» —
Тридцать лет назад в начале мая.

* * *

Одни верны России
 потому-то,
Другие же верны ей
 оттого-то,
А он — не думал, как и почему.
Она — его поденная работа.
Она — его хорошая минута.
Она была Отечеством ему.

Его кормили.
 Но кормили — плохо.
Его хвалили.
 Но хвалили — тихо.
Ему давали славу.
 Но едва.
Но с первого мальчишеского вздоха

До смертного
 обдуманного
 крика

Поэт искал
 не славу,
 а слова.

Слова, слова.
 Он знал одну награду:

В том,
 чтоб словами своего народа
Великое и новое назвать...

ПСЕВДОНИМЫ

Когда человек выбирал псевдоним **Веселый**,
он думал о том, кто выбрал фамилию **Горький**,
а также о том, кто выбрал фамилию **Бедный**.
Веселое время, оно же светловое время,
с собой привело псевдонимы **Светлов** и **Веселый**,
но не допустило бы
 снова назваться Горьким и Бедным.
Оно допускало фамилию
 Беспощадный,
но не позволяло фамилии
 Безнадежный.

Какие люди брали тогда псевдонимы,
фамилий своих отвергая унылую ветошь!
Какая эпоха уходит сейчас вместе с ними!
Ее пожаром, **Светлов**,
 ты по-прежнему светишь!

...Когда его выносили из клуба
писателей, где он проводил полсуток,
все то, что тогда говорилось, казалось глупо,
все повторяли обрывки светловских шуток.

Он был острословьем самой серьезной эпохи,
был шуткой тех, кому не до шуток было.
В нем заострялось время, с которым шутки плохи,
в нем накалялось время — до самого светлого пыла.

* * *

Прогрели, как звук, и ударили в уши.
Просверкнули, как свет, поразили глаза.
Это кто прогремел, просверкнул?
Наши души.
Наши принципы, комплексы и тормоза.

Хорошо быть протоном в потоке искусства,
быть частицей, элементарною пусть,
чтобы глаз твой
и слух твой,
твой голос
и вкус твой
вызывали всеобщую радость и грусть.

Хорошо хоть словечком, хоть оборотом
встрясть в язык
и произноситься народом.

* * *

В поэзии есть ангелы и люди.
Есть демоны и люди.
Есть духи и великие старухи.
Есть неземные звуки и слова.

От естества ли, от сверхъестества,
от вещества земного иль эфира —
твоя гитара или, может, лира,
твои два метра или же полмира,
твоя Рязань или твоя Пальмира —
все, чем душа
жива иль сверхжива?

ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

**В этом деле, как в подводном деле,
не бывает никакой халтуры.**

**В этом деле, как в цеху горячем,
нет прохладных отношений к делу.**

**В этом деле, как в саперном деле,
никому еще не удавалось
ошибиться дважды.**

Это дело,

как осколок —

острый грамм металла,

нервы слишком важные задело,

закрутило, замотало.

Это наше дело — слово.



Поэта подбирают,
как ходока:
дойти, куда надо,
сказать что надо,
а если дорога нелёгка,
так что же:
надо — значит, надо.

Поэт должен знать,
к кому идти,
как знал ходок, что идти нужно к Ленину,
и, выбрав путь, не сбиться с пути,
шагать и шагать
спокойно, уверенно.
Нет у поэта закваски, закалки
пахаря,
вздымающего поля.

То ему шатко, то ему валко:
уходит из-под ног земля.
Но чтобы поэт мог состояться,
он должен в очереди достояться,
чтобы выслушали,
чтобы услышали...

* * *

Поэзия — оклик, реже — окрик.
Она не нуждается в гипсах и орах,
а только в бумаге и карандаше.
Эта легкость — мне по душе.

Стихи, написанные в течение жизни,
может выучить на память вдова,
впитать и скрыть, а скажут — брызны,
она и брызнет большие слова.
Поэзия прибавляет

хорошее

стиха по четыре в год — со всех! —
а прочие застилают порошею
забвения.

Белый забвенный снег.

Краткость, портативность стиха,
его переносность,
общедоступность сырья и станка,
методов блаженная косность:
работай приемами хоть Гомера
или средневековых баллад,
были бы разум, чувство, мера —
не позабудут твой вклад.

* * *

Я думал: живопись мне не освоить,
понаписали за тридцать веков.
Зато скульптура проще вдвое.
Я разберусь, кто каков.

В самом деле: головы, торсы.
Ноги — крепки, осанки — горды.
И я по выставкам долго терся,
всматривался в бицепсы и зады.

Постепенно понимать начинал
логику тела голого
и чем двадцатый век начинал
мускулы, животы, головы;

шепоту каменных губ вторя и
вглядываясь в глаза, слепые дотла,
понял, как деформирует история
не только души, но и тела.

Опущенные навеки веки,
глаза, закрытые навсегда,
не помешали искать в человеке,
где его счастье, где беда.

* * *

Поэт растет не как дерево,
поэт растет как лес,
выдерживает порубку
и зеленеет снова,
поскольку оно без плоти,
поскольку без телес,
наше вечнозеленое слово.

Поэт выдерживает даже забвенье,
даже всеобщее молчанье.
Слово его еще увереннее,
когда оно отчаяннее.

Когда ты в расчете с самим собой
и расплатился с собой до рубля —
стой незыблемо, как собор,
под которым вся земля.
Стойко стой, ничуть не горбясь,
не шатаясь на ветру.
Смело стой, как стрелковый корпус,
вся страна за которым в тылу.

* * *

Начинается длинная, как мировая война,
начинается гордая, как лебединая стая,
начинается темная, словно кхмерские письмена,
как письмо от родителей, ясная и простая
деятельность.

В школе это не учат,
в книгах об этом не пишут,
этим только мучат,
этим только дышат —
стихами.

Гул, возникший в двенадцать и даже в одиннадцать лет,
не стихает, не смолкает, не умолкает.
Ты — актер. На тебя взят бессрочный билет.
Публика целую жизнь не отпускает
со сцены.

Ты — строитель. Ты выстроишь — люди живут
и кланут, обнаружив твои недоделки.
Ты — шарманщик. Из окон тебя позовут —
и крути и крутись, словно рыжая белка
в колесе.

Из профессии этой, как с должности экзотической королей,
много десятилетий не уходили живыми.
Ты — труба. И судьба исполняет одну из важнейших ролей—
на тебе. На важнейших событиях ты ставишь фамилию, имя,
а потом тебя забывают.

ЮБИЛЕЙ

Старенький Сарьян,
 с его скрипаческой,
седенькой и вьющейся прической,
с живописью —
 ясной, качественной,
с жизнью —
 ясной, четкой,
старенький Сарьян дождался полного
удовлетворения претензий:
телесъемки, вернисажа полного,
киносъемки, музыки, гортензий.

Умные московские армяне
радостно приветствуют собрата.
Гордые армянские армяне
прибыли с подножий Арарата.

Три скрипачки скрипочки уперли
в плечики
 и тихо ждут приказа,
и першит от треволенья в горле
у сынов России и Кавказа.

Все-таки железное здоровье
нужно,
 чтобы этого дожждаться!
Да, здоровье. И еще — второе:
трижды сверхжелезная удача —

то, что сдуру названо талантом
даром. В этом деле все — не даром.
Нечего здесь делать дилетантам,
балагурам, трепачам, гусарам.

Впрочем, отвлекаться не приходится:
хоровод старинный хороводится,
юбилей законный юбилеется.
Это дело наконец-то клеится.

ХОЛСТЫ АКОПА КОДЖОЯНА

Сарьян — в хрестоматии нашего глаза.
Он ясен для младшего школьного класса
и прост, словно воздух, которым дышу.
И больше я про него не пишу.

Сарьян — это выигранное сражение.
А слово — искусственное орошение
пустынь и полупустынь — песков.
Поэтому я приглашу Коджояна: восстань из могилы!
Ты умер так рано!
Полотна развесь!
Покажись нам, Акоп!

Пусть медленные заведут разговоры
тобою нагроможденные горы.

Пускай нам окажут почет и доверье
тобою возвращенные легкие звери,
Пусть птицы твои защебечут над нами,
обсудят, осудят мой каждый изъян
и с нами поделятся птичьими снами.
Какими — ты знаешь,

Акоп Коджоян!

И ежели ныне не встретишь оленя
и лани,
исполненной сладостной лени,
в горах и долинах армянской земли, —
они на холсты Коджояна ушли.

Я, сызмальства,
с Харькова,
с детства
узнавший
армянский рассудок, порядок и чин,
настаиваю,
чтоб на выставках наших
просторные стенки
Акоп получил.
О милый цветок каменистой земли,
роскошествуй! Душу мою весели!

* * *

Ответственные повествования
словесность составили нашу,
случайные импровизации
в России не процвели.
Ни смутные волхования,
ни сюрреализма каша
нашей цивилизации
впрок никогда не шли.

Российские модернисты
были ясны и толковы,
писали не водянисто
и здравого смысла оковы, —
пусть злобствуя и чертыхаясь,
но накрепко пригвоздя, —
они наложили на хаос,
порядок в нем наведя!

* * *

Читатель превзошел писателя
сосредоточенной любовью
к родной поэзии,
как, временами,
возможность обороны
превосходила возможность наступленья,
как, временами,
броня была сильнее пушки,
окоп — сильнее танка.

ПЕСНЯ ДЛЯ СТАРИКА

Песня для молодежи —
эта стезя легка.
Кто же сложит все же
песню для старика?

Чтобы он мурлыкал
музыку и слова,
бодрый, не шитый лыком,
умная голова.

Вот он идет со службы,
вот он домой спешит,
вот он во имя дружбы
недруга тормозит.

Песню надо бы в губы,
чтоб не пошел ко дну,
что-то вроде гуда,
ноту хотя бы одну.

Я сложу ее, слажу,
выбью, как в яблочко бьют!
Вот все громче и слаще
все старики поют.

* * *

Когда откажутся от колеса,
когда его ходулями заменят,
а десятичная система счета
помрет, а синхрофазотроны
пойдут на переплавку —

Пушкина

все будут знать по имени и отчеству.

Я выбрал самую надежную профессию:
в ней все плохое

устаревает сразу, в чертежах,
а все хорошее

в двадцатом веке

не хуже, чем в двадцатом веке
до нашей эры.

Когда откажутся от рук и глаз,
от смелости и от любви,
тогда откажутся от нас —
от Пушкина.

* * *

Следует ли выступать в кафе,
там, где пьют коньяк и тянут кофе,
есть ли в полулитре или штофе
родственное что-нибудь строфе?

Смотрят не меня, а на меню,
внутреннему моему огню,
видимо, не доверяя,
вилкою в тарелке ковыряя.

Добирают до баллад моих
двести грамм, а кое-кто и триста,
и глухие, как артиллеристы,
внемлют, но не слышат стих.

Между тем, стыдясь, и торопясь,
и переживая, и стараясь,
словно через мартовскую грязь,
через равнодушие пробираясь,
по кафе бредут стихи.

* * *

Сапер ошибается только раз.
Поэт ошибается каждый раз:
как скажет,
а это ему легко, —
так смажет,
попадет в «молоко».

А если вам известны
ответы на все вопросы —
переходите на прозу.

СЛОВА, СЛОВА

Если иссякнут силы,
а дело все-таки правое —
появляется пафос.

Власть бытия над сознанием
имеет свои пределы.
Разгневанное сознание
командует бытием.

Ежели снабжение
не обеспечит сражение,
его обеспечат речи
взволнованных политруков.

Слова, слова, слова, —
говаривал Гамлет.
Кроме того, есть Слово,
которое было вначале.

Вначале было слово,
и только потом — дело.

Слова, слова, слова, —
говаривал Гамлет,
написанный словами,
десятком тысяч слов.

**Последняя провинция,
сдаваемая войском, —
язык.**

**Дальше некуда
и некогда отступить.**

* * *

Кувшин — старейший символ формы.
А новый символ формы зыбок,
настолько неопределенен,
что затруднюсь его назвать:
не квант, не электрон, не атом.

Вода — новейший символ формы.
Она излилась из кувшина
и продолжает литься, капать,
струиться, течь, а мы стоим
на берегу всемирной влаги,
всего Текущего, и тщетно
планируем, гадаем, тщимся
опять залить ее в кувшин.



РЕЙД

У кавкорпуса в дальнем рейде —
ни тылов, ни перспектив.

Режьте их, стригите, брейте —
так приказывает командир.

Вот он рвется, кавалерийский
корпус —

сабель тысячи три.

Все на удали, все на риске,
на безумстве, на «черт побери!».

Вот он режет штаб дивизии
и захватывает провизию.

Вот районный город берет
и опять, по снегам, вперед!

Край передний, им разорванный,
много дней как сомкнулся за ним.

Корпусные особые органы
жгут архивы, пускают дым.

Что-то ухаает, бухает глухо —
добивают выстрелом в ухо

самых лучших, любимых коней:
так верней.

Корпус, в снег уютгом вошедший,
застревает, как пуля в стене.

Он гудит заблудившимся шершнем,
обивающим крылья в окне.

Иссякает боепитание.
Ежедневное вычитание
молча делают писаря.

Корпус, словно прибой, убывает.
Убивают его, добивают,
но недаром, не так, не зазря.

Он уже свое дело сделал.
Песню он уже заслужил.
Красной пулей в теле белом
он дорогу себе проложил.

КРОПОТОВО

Кроме крыши рейхстага, брянских лесов,
севастопольской канонады,
есть фронты, не подавшие голосов.
Эти тоже выслушать надо.
Очень многие знают, где оно,
безымянное Бородино:
это — Кропотово, возле Ржева,
от дороги свернуть налево.
Там домов не более двадцати
было.

Сколько осталось — не знаю.
У советской огромной земли — в груди
то село, словно рана сквозная.
Стопроцентно выбыли политруки.
Девяносто пять — командиры.
И село (головешки да угольки)
из рук в руки переходило.
А медали за Кропотово нет? Нет.
За него не давали медали.
Я пишу, а сейчас там, конечно, рассвет
и ржаные желтые дали,
и, наверно, комбайн идет по ржи
или трактор пни корчует,
и свободно проходят все рубежи,
и не знают, не слышат, не чуют.

РОМАН ТОЛСТОГО

Нас привезли, перевязали,
суть сводки нам пересказали.
Теперь у нас надолго нету дома.
Дом так же отдален, как мир.
Заго в палате есть четыре тома
романа толстого «Война и мир».

Роман Толстого в эти времена
перечитала вся страна
в госпиталях и в блиндажах военных.
Для всех гражданских и для всех военных
он самый главный был роман, любимый;
в него мы отступали из войны.
Своею стойкостью непобедимой
он обучал, какими быть должны.

Роман Толстого в эти времена
страна до дыр глубоких залистала;
мне кажется, сама собою стала,
глядясь в него, как в зеркало, она.

Не знаю, что б на то сказал Толстой,
но добродушие и великодушие
мы сочетали с формулой простой:
душить врага до полного удушья.
Любили по Толстому; по нему,
одолевая смертную истому,
докапывались, как и почему.
Но воевали тоже по Толстому.

КАЗАХИ ПОД МОЖАЙСКОМ

С непривычки трудно на фронте,
А казаху трудно вдвойне:
С непривычки ко взводу, к роте,
К танку, к пушке, ко всей войне.

Шли машины, теснились моторы,
А казахи знали просторы,
И отары, и тишь, и степь.
А война полыхала домной,
Грохотала, как цех огромный,
Била, как железная цепь.

Но врожденное чувство чести
Удержало казахов на месте.
В Подмосковье в большую пургу
Не сдавали рубеж врагу.

Постепенно привыкли к стали,
К гроыханию и к огню.
Пастухи металлстами стали.
Становились семь раз на дню.

Постепенно привыкли к грохоту
Просоводы и чабаны.
Приросли к океанскому рокоту
Той Великой и Громкой войны.

Механизмы ее освоили
Степные, южные воины,
А достоинство и джигитство
Принесли в снега и леса,
Где тогда гроыхала битва,
Огнедышащая полоса.

ПЕРЕПРАВА

Не помеченные на карте
и текущие так, зазря,
подмосковные речки в марте
разливаются в полуморя.

Ледяная, убивающая
снеговая вода,
с каждым часом прибывающая,
заливает пойму тогда.

Это все на неделю, на две,
а потом все схлынет, уйдет.
Ну, а две недели
разве
так легко прожить, пережить!

В эти самые две недели
в марте, в 42-м году,
на меня вещмешок надели.
Я сказал: «Сейчас пойду».

Дали мне лошаденку: квелая,
рыжая. Рыжей меня.
И сказали кличку: «Веселая».
И послали в зону огня.

Злой, отчаянный и голодный,
до ушей в ледовитом огне,
подмосковную речку холодную
переплыл я тогда на коне.

Мне рассказывали: простудился
конь
и до сих пор хрипит.
Я же в тот раз постыдился
в медсанбат отнести свой бронхит.

Было больше гораздо спросу
в ту войну с людей, чем с коней,
и казалось, не было сносу
нам
и не было нас сильней.

Жили мы без простудной дрожи,
словно предки в старину,
а болеть мы стали позже,
когда выиграли войну.

МОЙ КОМБАТ НАЗАРОВ

Мой комбат Назаров, агроном,
Высшее имел образование,
Но обрел свое призвание
В батальоне,
 в том, где был он «ком»,

Поле, паханная им земля,
Мыслилось теперь как поле боя,
До Берлина шли теперь поля
Битвы. Понимал комбат любое.

Разбирался в долах и горах,
Очень точно применялся к местности,
Но не понимал, что честность
Иногда не исключает страх.

— Труса расстреляю лично я! —
Говорил он пополнению.
Сдерживая горькое волнение,
Слышали такое сыновья
Разных наций и племен различных,
Понимая: расстреляет лично.

Мой комбат Назаров разумел,
Что комбатов часто убивают,
Но спокойно говорил: «Бывает».
Ничего не требовал взамен.

Дело правое была война.
Для него же
 прежде всего — дело.
Лучшего не ведал он удела
Для себя в такие времена.

А солдат берег. Солдат любил.
И не гарцевал. Не красовался,
Да и сам без дела не совался
Под обстрел. Толковый был.
И доныне сердце заболит,
Если вспомню.

 Было здорово
В батальоне у Назарова,
В том, где был я замполит.

ЗАМПОЛИТ

Замполит — заместитель по бодрости,
если что-нибудь заболит.

А еще: по славе и гордости
заместитель — замполит.

Ордена государство навесило
и пришило погоны мне,
чтобы было бодро-весело
на большой, многолетней войне.

То советующий, то приказывающий —
забирающий в оборот,
я был стрелкой всегда указывающей:
«На Берлин! На запад! Вперед!»

Дотом веры, надежды дотом
я по всей войне проходил.
Был про Гитлера — анекдотом,
если выделили «Крокодил».

Был приказом, песней, советом,
принесенным к бойцу письмецом.
Был начальником, но при этом
был товарищем и отцом.

Ежедневно старался бриться,
был опрятен, тверд и толков.
А в плену до единого фрицы
убивали политруков.

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ

За маленькие подвиги даются
медали небольшой величины.

В ушах моих разрывы отдаются.
Глаза мои пургой заметены.

Я кашу съел. Была большая миска.
Я водки выпил. Мало: сотню грамм.
Кругом зима. Шоссе идет до Минска.
Лежу и слушаю вороний грай.

Здесь в зоне автоматного огня,
когда до немца метров сто осталось,
выкапывает из меня усталость,
выскакивает робость из меня.

Высвобождает фронт от всех забот,
выталкивает маленькие беды.

Лежу в снегу, как маленький завод,
производящий скорую победу.
Теперь сниму и выколочу валенки,
поставлю к печке и часок сосну.
И будет сниться только про войну.

Сегодняшний окончен подвиг маленький.

ДВЕСТИ МЕТРОВ

Мы бы не доползли бы,
Ползи мы хоть ползимы.
Либо случай, либо —
Просто счастливые мы.

Ровно двести метров
Было того пути,
Длинных, как километры...
Надо было ползти!

Надо — значит, надо!
(Лозунг той войны.)
Сжав в руках гранаты,
Мы ползти должны.

Белые маскхалаты
Тихо берут подъем.
Словно ели, мохнаты,
Оползнями ползем.

Оползнями, пливунами
Плыли мы по снегам.
Что же станется с нами,
Взвод не постигал.

Взвод об этом не думал:
Полз, снег вороша.
И как пену сдунул
Немцев с рубежа.

ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ

Генерал срывал погоны
с офицера. Тот стоял
смирно, тихо и покорно.
Пот на лбу его сиял.

Генерал кричал и злился,
свой накаливал накал,
а погон в траву валился,
в зелень зеленью вникал.

Где-то сбоку, зная меру,
метрах в четырех, пяти,
мы стояли, офицеры,
нам нельзя было уйти.

Мы стояли и молчали.
Каждый думал: «Как ему?»
Генерал серчал вначале,
«вышку» поминал, тюрьму.

А потом остепенился,
успокоился, обмяк,
даже голос изменился.
— Эх, — сказал, — дурак, армяк!

Подними и марш отселе!
Можешь снова их пришить.
Что стоите? Вы бы сели.
Надо еще один вопрос решить.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В АЛЬПАХ

Четыре верблюда на улицах Граца!
Да как же они расстарались добраться
до Альп

из родимой Алма-Аты!

Да где же повозочных порастеряли?
А сколько они превзошли расстояний,
покуда дошли до такой высоты!

Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда,
худые и гордые звери идут.

А впрочем,

я никогда не поверю,
что эти верблюды действительно звери.
Достоин иного прозванья верблюд.

Дивизия шла на верблюжеской тяге:
арбы или пушки везли работяги,
двугорбые, смиренные, добрые,
покорные, гордые, бодрые.

Их было, наверное, двести четыре,
а может быть, даже и триста четыре,
но всех перебили,
и только четыре
до горного города Граца дошли.
А сколько добра привезли они людям!

Об этом распространяться не будем,
но мы никогда,

никогда
не забудем

верблюдов из казахстанской земли.

В каком-то величье,
в каком-то прискорбье,
загадочно-тихие, как гороскоп,
верблюды
проходят
сквозь шум городской.

И белые Альпы видны в междугорбье.

Вдоль рельсов трамвайных проходит верблюд,
трамвай гурьбой за арбою идут.

Повозочный старенький дремлет в арбе,
верблюду кричит, как быку: «Цоб-цобел»
Усталый, в шинельку закутанный,

дремлет.

Он это добился в суровой борьбе,
трамвай потревожить верблюда не смеет.

Неспешность

приходится
извинить.

Трамвай не решается позвонить.

Целая очередь грацких трамваев
стоит,

если тянется морда к кустам,
стоит,

пока был по листку обрываем
возросший у рельс превосходный каштан.

Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда.

МАРШАЛ ТОЛБУХИН

У маршала Толбухина в войсках
Ценили мысль и сметку,
чтоб стучала,
И наливалась силою в висках,
И вслед за тем победу источала.

Сам старый маршал, грузный и седой,
Интеллигент в десятом поколеньи,
Любил калить до белого каленья
Батальных размыслов железный строй.

То латы новые изобретет
И производство панцирей наладит,
И этим утюгом по шву прогладит
Врагов. Сметет и двинется вперед.

То учредит подводную пехоту,
Которая проходит дном речным
И начинает страшную охоту
На немца,
вдруг возникши перед ним.

Водительство полков
не ремеслом
Считал Толбухин,
а наукой точной.
Смысл западный
со сметкою восточной

Спаяв,
он брал уменьем, не числом.

Жалел солдат
и нам велел беречь,
Искал умы,
и брезгал крикунами,
И умную начальственную речь
Раскидывал, как невод,
перед нами.

В чинах, в болезнях, в ранах и в летах,
С веселой челкой
надо лбом угрюмым
Он долго думал,
думал,
думал,
думал,
Покуда не прикажет: делать так.

Любил порядок,
не любил аврал,
Считал недоработкой смерть и раны,
А все столицы — что прикажут —
брал,
Освобождал все — что прикажут —
страны,

ДЕВЯТОГО МАЯ 1945 ГОДА

Земля качнулась.
Что-то кончилось.
А что-то снова началось,
пока в планетной плоти корчилась,
ворочалась земная ось.
Земля качнулась — и очнулась,
и улыбнулась людям.
Солдат сказал: — Война загнулась.
Теперь мы долго воевать не будем. —
Солдат сказал: — Домой поедем
и вещмешки с собой возьмем.
Жене, и детям, и соседям
подарки привезем. —
Солдат сказал: — Прощай, война!
Мне сорок семь.
Я был на двух.
Настали мира времена.
Переведу я дух. —
Солдат побрился и помылся,
духами пахнет голова,
и к мирной жизни устремился
на поезде Берлин — Москва.

МИРНАЯ АРМИЯ

Снова, как прежде бывало, в казарме я —
армия, мирная армия,
бритых затылков стандарт,
лиц бесконечное разнообразие:
темноволосая Азия
с русоволосой Европой в ряд.

Армия — значит, порядок
в кухне и на парадах;
в мировоззрении и построении
бодрое настроение,
полный порядок!

Армия — значит, готовность,
не только номер один.
Ясные мысли и чистая совесть
армии необходимы.

Армия — значит, снова гляжу
прямо в глаза своему командиру.
Снова на коечке жесткой лежу,
видя во сне все ту же картину:
бритых затылков стандарт,
лиц бесконечное разнообразие —
темноволосая Азия
с русоволосой Европой в ряд.

* * *

Ракетчики, подводники, танкисты.
Теперь, что ни солдат — прибор.
Продолжены людские кисти:
солдаты — глубже моря,
выше гор.
До рукопашной дело не доходит.
Единоборствовать машины не дают.
Солдаты ездят.
Очень редко ходят.
Солдаты мыслят, а не просто бьют,

Только воздух,
только небо синее,
единственное место на земле,
где — баш на баш —
порой сойдутся сильные,
золу с золой
смешав в одной золе.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА №...

Равенство в еде и в тесноте,
в норме хлеба, в пайке воздуха,
в круглосуточной,
почти без роздыха,
каждодневной суете.
Лодка погибает вся и сразу,
офицеры и матросы вместе.
Равенство пред жизнью и пред смертью —
ради дела, а не ради фразы.
Очень развитой народ,
точно понимающий задачи;
знающий про кислород
и по книге и по недостатке;
изучающий углекислоту
по учебнику, по преизбытку,
а давление и высоту —
как попытку и как пытку.
Шутят все. С утра до вечера.
Знают, что без шутки пропадешь,
но следят, чтоб выходило вежливо,
без
грязнящих самолюбие подошв.
Крепко, каменно сжимают руку,
взглядами прямыми пламеня,
и читают Пушкина друг другу,
что приятно
очень
для меня.

ИСКРА

Одышливый, тучный, сырой,
квашня в златотканых погонах.
А был — из героев герой:
все в рейдах, атаках, погонях.

Кто выбил тебя из седла?
— Кто выбил? Года, —

отвечает. —

Как темная силища зла,
года меня бьют и кончают.
И не прорубиться сквозь них.
Сквозь них сквозняком не промчатся.

И вдруг, словно призрак возник,
красивый, как Байрон, как Чацкий,
перенапряженный, как взмах,
и словно удар беспощадный,
воспетый во многих томах,
до жизни и до смерти — жадный.

И вот он — седой, как зима.
И вот он — сырой, словно осень.
А все-таки много ума.
Ответит, о чем мы ни спросим.
Весь в шрамах, рубцах, тормозах.
Его седина — не растает,
а все-таки в слабых глазах
какая-то искра блистает,
какая-то искра, как рейд,
еще прорывается, скачет...

МАЙОР ЗАПАСА

Солдаты — стриженные, бритые.
Солдаты ладные и крепкие.
Их торсы, в гимнастерки влитые.
Их руки, твердые и цепкие.
О ритм! О единообразии
Дающий шаг стрелковой роты!
О лица с томным блеском Азии!
О яростные повороты!
Кто яростно поворачивался,
Кто запевал хоть раз «Катюшу»,
В шинелку зябко заворачивался,
Трофейным спиртом тешил душу,
Тот помнит. Не умом, так телом.
Тот знает. Не душой, так сердцем.
Тот в этой вере, в деле смелом
Останется единоверцем.
Звучи же, резкий звук приказа,
Взметайтесь, красных флагов очерки!
Я гвардии майор запаса —
Запаса самой первой очереди.

ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ

Те тайны,
военные тайны,
что я сохранил,
не напоминали
секретов,
военных секретов,
Загадочным взором старинных портретов
смотрели они на меня
со страниц.
Я таинство смерти хранил у души в тайнике,
и таинство боя,
и славную тайну победы.
Скрывать эти тайны ни разу я не дал обета,
Они, словно птицы, в моей трепыхались руке.
Я их отпустил,
и запели они о своем.
Все тайны — пустил,
а секрета ни разу не выдал:
военные тайны,
все то, что я втайне увидел,
все то,
с чем войну скоротал я вдвоем.



* * *

Слышу шелест крыл судьбы,
шелест крыл,
словно вешние сады
стелет Крым,
словно бабы бьют белье
на реке,
так судьба крылами бьет
вдалеке.

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

В девятнадцатом я родился,
но не веке — просто году.
А учился и утвердился,
через счастье прошел и беду
все в двадцатом, конечно, веке
(а в году — я был слишком мал).
В этом веке все мои вехи,
все, что выстроил я и сломал.

Век двадцатый! Моя ракета,
та, что медленно мчит меня,
человека и поэта,
по орбите каждого дня!

Век двадцатый! Моя деревня!
За околицу — не перейду.
Лес, в котором мы все деревья,
с ним я буду мыкать беду.

Век двадцатый! Рабочее место!
Мой станок! Мой письменный стол!
Мни меня! Я твое тесто!
Бей меня! Я твой стон.

* * *

Тот возраст, когда мне пальто покупали на вырост,
прошел безвозвратно. Я рос и, по-видимому, вырос.
Тот возраст, когда не всегда допускали в кино,
прошел. Допускают давно, даже слишком давно.
Мой круг убывает. Как будто луна убывает.
Кто сам умирает, кого на войне убивают,
и в списке друзей моих те, кто навеки молчат,
куда многочисленней тех, кто шумят и кричат.
Я думаю, мне интересней и даже полезней
меж тех, кто погиб от атак, контратак и болезней
и памяти точной и цепкой на долю достался,
меж тех, кого нет, а совсем не меж тех, кто остался.
Моя терпеливость. Моя неторопливость
похожа на их справедливость, на их молчаливость.

БОЛЬШИЕ ЦИФРЫ

Цифры, что меня сопровождали,
были велики.

Номер паспорта, номер партбилета —
семизначное число.

Смолоду я привык бросаться
словом «миллион».

Сохранить свой знак, свой иероглиф
в сутолоке цифр

было нелегко, непросто, тяжело,
память хваткая была нужна.

Все же доставляло утешенье
семизначное число:

много нас, я думал, очень много.
Это хорошо.

Много нас, с трудом запоминающих
место в миллионе,

но с восторгом думающих:
все же миллионы нас!

* * *

У времени вечный завод,
как будто Второй часзавод
его собирал на конвейере.
Заведено на века,
как будто его в ОТК
Второго завода проверили.
Все кончится, что началось,
хотя бы сначала, как лось,
случайно забредший в Сокольники,
шумело, ревело, тряслось.
Все кончится, что началось.
Все кончится. Тихо. Спокойненько.
Полвека, что я проживу,
треть века, что я проработаю,
как лось, я сминаю траву
и розы на клумбах заглатываю.
Но время мое включено,
песок мой все сыплется, сыплется,
и надо дерзать или силиться —
кому что дано,

ОТРОЧЕСТВО

Нынешние студенты
гораздо лучше одеты,
чем я, когда я учился
в конце тридцатых годов.
Нынешние студенты
реже читают газеты.
Их занимают числа,
цифры забытых голов.

Нынешние — сытее,
шире в плечах, наверно.
У них другие идеи:
можно подумать неверно.
Мне было невозможно
хоть раз подумать ложно.

Страшное напряженье
в наших гудело мозгах,
чтобы ни нарушенья
в абрисе и мазках.
Через все наши споры,
помню, как сейчас,
лозунг прошел: саперы
ошибаются только раз!

Мины, мины, мины
выли вокруг меня.
Мало было мира.
Много было огня.

Мало было мыла.
Мало было хлеба.
Много было пыла.
Много было неба —
неба голубого
над зелеными полям.
Отрочества любого
мне мое милей.

ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ

Было полтора чемодана.
Да, не два, а полтора
Шмутков, барахла, добра
И огромная жажда добра,
Леденящая, вроде Алдана.
И еще — словарный запас,
Тот, что я на всю жизнь запас.
Да просторное, как Семиречье,
Крепкое, как его казачье,
Громоносное просторечье,
Общее,
Ничье,
Но мое.

Было полтора костюма:
Пара брюк и два пиджака,
Но улыбка была неприступна,
Но походка была легка.

Было полторы баллады
Без особого складу и ладу.
Было мне восемнадцать лет,
И в Москву бесплацкартный билет
Залегал в сердцевине кармана,
И еще полтора чемодана
Шмутков, барахла, добра
И огромная жажда добра.

* * *

А я не отвернулся от народа,
С которым вместе
голодал и стыл.

Ругал баланду,
Обсуждал природу,
Хвалил
далекий, словно звезды,
тыл.

Когда
годами делишь котелок
И вытираешь, а не моешь ложку —
Не помнишь про обиды.
Я бы мог.
А вот — не вспомню.
Даже так, немножко.

Не льстить ему,
Не ползать перед ним!
Я — часть его.
Он — больше, а не выше.
Я из него действительно не вышел.
Вошел в него:
И стал ему родным.



Интеллигенция была моим народом,
была моей, какой бы ни была,
а также классом, племенем и родом —
избой! Четыре все ее угла.

Я радостно читал и конспектировал,
я верил больше сложным, чем простым,
я каждый свой поступок корректировал
Львом чувства — Николаичем Толстым.

Работа чтения и труд писания
была святей Священного писания,
а день, когда я книги не прочёл,
как тень от дыма, попусту прошел.

Я чтил усилья токаря и пекаря,
шлифующих металл и минерал,
но уровень свободы измерял
зарплатою библиотекаря.

Те земли для поэта хороши,
где — пусть экономически нелепо —
но книги продаются за гроши,
дешевле табака и хлеба.

А если я в разоре и распыле
не сник, а в подлинную правду вник,
я эту правду вычитал из книг:
и, видно, книги правильные были!

УВАЖЕНИЕ

— С уважением! —

Какие люди

мне подписывали! — Приношу на суд
эту книгу.

Яблочком на блюде

уважение не поднесут.

Жизнь, среди сражавших и сражаемых,
скудно и ответственно я жил.

Уважение

мною уважаемых

я заслуживал и заслужил.

ВЫСОКОМЕРИЕ

Колючая проволока
высокомерия —
а вы ее пробовали?
А вы ее мерили?

Берите, примерьте!
У нас — в изобилии.
Поможет до смерти
дожить без обиды.

Священное право я
хочу обрести —
колючую, ржавую
себя обвести.

Она помогает
немедля и верно:
ну, кто помыкает
высокомерным?

О высокомерья
высокая мера!
Швыряют каменья —
встаю — для примера.

Встаю, поднимаюсь,
от смерти не кроюсь,
и не поменяюсь
местами со скромностью.

* * *

Где-то струсил. Когда — не помню.
Этот случай во мне живет.
А в Японии, на Ниппоне,
В этом случае бьют в живот.

Бьют в себя мечами короткими,
Проявляя покорность судьбе,
Не прощают, что были робкими,
Никому. Даже себе.

Где-то струсил. И этот случай,
Как его там ни назови,
Солью самую злой, колючей
Оседает в твоей крови.

Солит мысли твои, поступки,
Вместе, рядом ест и пьет,
И подрагивает, и постукивает,
И покоя тебе не дает.

ИЗЛЕТ

Я возраст чувствую — свои сорок четыре.
Отчетливо — соседом по квартире
за тонкой и всеслышащей стеной,
который за стеной, но и со мной.

Да! Все мои сорок четыре года
кричат во мне, витийствуют, галдят,
как требующий каши и компота
такой же численности
детский сад.

Мой возраст в том, что лестницы в домах
немного круче прошлогодних лестниц.
Мой возраст отражается в умах
моих читателей,
в сердцах прелестниц.

Сорок четыре. Беспощадный треск
короткой очереди пулеметной.
А в двадцать два я был сухой, голодный,
худой,
как сабли выхваченный блеск.

Сорок четыре. Сорок плюс четыре.
Четыре года после сорока.
И я уже не красная строка,
а попросту деталь в большой картине.

Я не в середине века моего,
в середине той, последней половины.
А в двадцать два я в голове лавины
горел.

И не боялся ничего.

1963

* * *

Теперь Освенцим часто снится мне:
дорога между станцией и лагерем.
Иду, бреду с толпою бедным Лазарем,
а чемодан колотит по спине.

Наверно, что-то я подозревал
и взял удобный, легкий чемоданчик.
Я шел с толпою належке, как дачник.
Шел и окрестности обозревал.

А люди чемоданы и узлы
несли с собой,
и кофры, и баулы,
высокие, как горные аулы.
Им были те баулы тяжелы.

Дорога через сон куда длинней,
чем наяву, и тягостней и длительней.
Как будто не идешь — плывешь по ней,
и каждый взмах все тише и медлительней.

Иду как все: спеша и не спеша,
и не стучит застынувшее сердце.
Давным-давно замерзшая душа
на том шоссе не сможет отогреться.

Нехитрая промышленность дымит
навстречу нам
 поганым сладким дымом
и медленным полетом
 лебединым
остатки душ поганый дым томит.

* * *

Отягощенный родственными чувствами,
Я к тете шел,
 чтоб дядю повидать,
Двоюродных сестер к груди прижать,
Что музыкой и прочими искусствами,
Случалось,
 были так увлечены!

Я не нашел ни тети и ни дяди,
Не повидал двоюродных сестер,
Но помню,
 твердо помню
 до сих пор,
Как их соседи,
 в землю глядя,
Мне тихо говорили: «Сожжены...»
Все сожжено: пороки с добродетелями
И дети с престарелыми родителями.
А я стою пред тихими свидетелями
И тихо повторяю:
 «Сожжены...»

1952

БЕРЕЗКА В ОСВЕНЦИМЕ

Березка над кирпичною стеной,

Случись,

когда придется,

надо мной!

Случись на том последнем перекрестке!

Свидетелями смерти не возьму

Платан и дуб.

И лавр мне ни к чему.

С меня достаточно березки.

И если будет осень,

пусть листок

Спланирует на лоб горячий.

А если будет солнце,

пусть восток

Блеснет моей последнею удачей.

Все нации, которые — сюда,

Все русские, поляки и евреи,

Березкой восхищаются скорее,

Чем символами быта и труда.

За высоту,

За белую кору

Тебя

последней спутницей беру.

Не примирюсь со спутницей

иною!

Березка у освенцимской стѣны!

Ты столько раз

в мои

врасала сны!

Случись,

когда придется,

надо мною.

* * *

Старческая горечь, опоздай!
Хоть на двадцать лет отсрочку дай.

Старческие желчь и кислота,
щеки не желти и не кисли уста.

Старость! Соверши оплошность,
дверью ошибись на этот раз!

Старческая осторожность,
дай мне ушибиться еще раз!

Еще раз!
Еще раз!
Еще много, много раз!

РАБОТАЮ

Кое-какие гайки подвинтил.
Винты-болты, один-другой добавил.
Мне надо, чтобы мой мотор крутил.
Вращал, а не трещал без правил.

Он вздрогнул, как усталый раб во сне,
когда во сне хозяйский голос слышит.
Его уже качает и колышет.
Сейчас он будет вновь покорен мне.

На хлеба черного куске большом,
на двух таблетках и на крепком чае
работает. И я его включаю
с утра. В обед залью его борщом.
Как миллион старинных тракторов,
сверхсрочно служащих в хозяйстве сельском,
как раненый, сражающийся с блеском
по формуле — практически здоров,

как те динамо, что давали ток
давным-давно, еще при Кржижановском,
я оказался крепким, прочным, носким.
Я ток даю. Я слышу: молоток!

Да, молоток! Тот странный комплимент,
рожденный во слесарнях или в кузнях,

где столько слов услышишь точных, вкусных,
особенно во время пересмен.

Скриплю. Это касается меня.
Работаю. А это всех касается.
И солнышко меня лучом касается
в знак, что огонь касается огня.



Я был оригинал. С меня писали
портреты.
Усаживали у оконницы,
чтоб свет лицо мне лучше освещал.
Никто не соглашался тратить время
на воплощение в холсте и красках.
Я был оригинал и соглашался.
Я был оригинал. Когда художник,
считавший долгом развлекать натуру,
затягивал старинный анекдот,
я говорил: «Пишите, не заботясь
о времяпрепровождении натуры!
Я тоже сочиняю — про себя».
А я не сочинял. Нет, я вникал
в ухватки, приемы и сноровку
последнего мастерового,
единственного в мире кустаря.
Мне по сердцу была и ловкость рук,
и то, что нет мошенства никакого,
и то, что мастер любит мастерство,
и то, что он не смотрит на часы,
а все посматривает, не смотрю ли я,
и то, что все его идеи
основаны на глазомере,
а не наоборот.
Когда-нибудь я напишу
портреты портретистов.

* * *

Я ждал не указания,
скорее вдохновения,
легчайшего касания
и чудного мгновения:
вдруг сдавит, приподнимет,
вперед толкнет,
по-гегелевски снимет,
зальет, разогнет.

Не слишком часто,
но все-таки бывало —
сплошное счастье
прибоем с ног сбивало,
накатывало и трясло,
как дом в землетрясение.

Какое лучше ремесло?
Чудесное? Весеннее?

РАДОСТЬ И ГОРЕ

Живопись радости, графика горя,
черная графика горя.

Радость — это летняя роща.

Горе — зимняя роща.

Радость — елки.

Горе — палки,
вычерненные пожаром балки.

Радость — это зеленая юность.

Горе — серая старость.

Радость — это звон здоровья.

Горе — глушь болезни.

Радость — это блестящая муха.

Горе — пыль паутины.

Радость — это Черное море.

Горе — черные горы.

Радость — это большой избыток.

Горе — недостаток.

Радость — это очень много.

Горе — очень мало.

А самое большое горе,
когда ничего нету,
даже надежды.

Самого большого горя
я не пережил еще ни разу.

ПОЛЬЗА ПОХВАЛЫ

Я отзывчив на одобрения,
как отзывчивы на удобрения
полосы нечерноземной
неприкаянные поля:
возвращает сторицей зерна
та, удобренная, земля.

А на ругань я не отзывчив,
только молча жую усы,
и со мной совершенно согласны
пашни этой же полосы.

Нет, не криком, не оскорблением —
громыхай хоть, как майский гром,
дело делают одобрением,
одобрением и добром.

СЧАСТЬЕ

Повезло мне, счастье привалило.
Словно небо в щелку равелина,
повалило счастье на меня.

Навалило счастья, словно снега
после ночи, двух ночей пурги.

Завалило счастьем, как породой
в старой шахте.

Обваляло счастьем, как мукой.

Дурака со мной сваяло счастье.
Лучше не играло бы со мной!

* * *

Столица нашей Родины — Москва,
Столица той земли, где я родился,
Где я укоренился, утвердился,
И это вовсе не слова.

Нет, это и слова, тот говорок,
Арбатский, мхатовский, замоскворецкий,
Изысканно-лукавый, как дворецкий.
Тот говорок, где суть промежду строк.

Но если надо, режет: «Нет!» и «Да!»
И голой правдой отношенья мерит
Москва, которая слезам не верит,
Кому победа, а кому беда.

Кому беда. Кому и плач в ночи
И долгие, ночные
 спичек вспышки,
Кому, как говорилось, калачи,
Кому же синяки и шишки.

А в общем нету места на земле,
Где лучше бы писалось
 и работалось,
Точней, чем здесь.
 Где время позаботилось,
Чтоб мне светило во вселенской мгле.

* * *

Скамейка на десятом этаже,
к тебе я докарабкался уже,
домучился, дополз, дозадохнулся,
до дна черпнул, до дыр себя сносил,
не пожалел ни времени, ни сил,
но дотянулся, даже прикоснулся.

Я отдохну. Я вниз и вверх взгляну.
Я посижу и что-нибудь увижу.
Я посижу, потом рукой махну —
тихонько покарабкаюсь повыше.
Подъем жесток, словно дурная весть,
и снова в сердце рвется каждый атом,
но, говорят, на этаже двадцатом
такая же скамейка есть.

* * *

Охватывало странное веселье,
как будто бы опять на новоселье —
в теплушку, а потом —
в окоп, в блиндаж.
Охватывал какой-то странный раж.
Охватывала молодость
вторая.
Когда горю и знаю, что сгораю.
Последняя.
Ведь третья — это смерть.
Хотелось снова пробовать и сметь.

* * *

Образовался недосып.
По часу, по два собери:
за жизнь выходит года три.
Но скуки не было.

Образовался недоед
из масел, мяс и сахаров.
Сочтешь и сложишь — будь здоров!
Но скуки не было.

Образовался недобор:
науки я не доучил
и счастья недополучил.
Но скуки не было.

Как будто всю ее смели,
как листья в парке в ноябре,
и на безлюдье, на заре,
собрали в кучу и сожгли,
чтоб скуки не было.

* * *

На стремительном перегоне
спрыгну с поезда, и в вагоне
досчитаются: нет одного,
но подумают: ничего.
Спрыгну с поезда. Лесом. Пехом.
Буреломом, переполохом
проторю к нежилому жилью
незаметную тропку свою.
Там широкая русская печка
и забытая кем-то свечка,
а к стене прибит календарь,
что показывал время встарь.
Слева, справа, спереди, сзади
тишина держит дом в осаде.
По-над домом дымит тишина,
и под домом зарыта она.
Там, в тиши, спокойно додумаю
свою самую главную думу я,
свежим воздухом подышу,
книгу главную напишу.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Я — сердечник. Держусь на пределе,
на таблетках, на порошках,
но в поэзии я при деле,
многоуважаемый шкаф.

Я бессонник. Суток по шесть
я ворочаюсь, а не сплю.
Но зато мне высшая почесть:
я эпоху на рифмы ловлю.

Я — пораненный в давно прошедшей,
в Отечественной, мировой,
и осколок, меня нашедший,
ноет язвою моровой.

Он ворочается сердца выше,
повстречавшийся мне в бою,
по ночам я, кажется, вижу,
как он врезался в плоть мою.

В общем жизнью почти доволен,
несмотря на всех докторов,
потому что телесно болен,
а душевно вполне здоров.

* * *

Как прочитанный том заставляют
непрочитанными пока.

Это вовсе не удивляет:

может, вспомнят еще слегка.

Может, вспомнят,

может, забудут,

как забитый по шляпку гвоздь,

может, схватят

и нервно будут

перелистывать на авось.

* * *

Как будто в гору сутки лез
и в полминуты вниз сорвался,
я вдруг теряю интерес
к тому, чем интересовался.

Внезапно стало наплевать,
и нет ни радости, ни злобы
к тому, что интересоваться
еще вчера меня могло бы.

Я в это дело не суюсь
не потому, что я рисуюсь,
а потому, что им не льщусь
и вовсе не интересуюсь.

Что ж, значит, перейден предел
и надо посерьезней дел?

Все это объяснимо просто:
сосну мне надобно по росту,
по силе и по топору.
И сочиненье — по перу.

НОЧЬ

Дневные шумы — все утихли.
День стынет, словно плавка в тигле.
А все часы, что тихо тикали,
затикали не очень тихо.
А мысли, бытом заглушенные,
ревут, как будто оглашенные.
А на душе совсем не просто.
А в голове свежо
и ясно,
что прошлый день — большого роста
и прожит вовсе не напрасно.

* * *

Мне кажется, когда протянут шнур,
веревку,

злых от добрых отсекая,
моя судьба, такая и сякая,
она не к злым, а к добрым попадет.

Моя струя, струись не иссякая,
моя река, теки не высыхая,
покуда зло последнее падет.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

I

«Россия увеличивала нас...»	5
Читальня на нашей улице	6
«Брали на обед по три вторых...»	7
«Целый класс читает по слогам...»	8
Московские рабочие	9
«Народ переходит на шляпу — с кепки...»	10
Негр в Москве	11
У моста	12
Хлеб	13
Страх	14
«Вторая Россия — та, что выстроена...»	15
Подписи под домами	16
«Если вся рота идет не в ногу...»	17
Дом	18
«Высоковольтные башни...»	20
Ночной футбол в Мурманске	21
«Восхищенье предыдущим поколением...»	23
Кругосветный путешественник	24
Изучение иностранного языка	26
Товарищ Габданк	27
«Не отвечаем за родителей...»	29
Сверстникам	30
«Музыка на вокзале...»	31
«Кого — исконный, кого — искомый...»	32
Светлые окна	33

«А в городе строительство бушует...»	35
«Женщина заплакала. У нее...»	36
«Все образуется, устроится...»	37
«Мир, как дом, был досрочно принят...»	38
Ради порядка	39
Март	40
Осень	41
Понятны голоса воды	42
Лето	44
«На что годится ночной автобус?..»	45
Большой масштаб	46

II

Сколько платят поэтам	49
Пластинка	51
«Где-то на перекрестке меж музыкой и наукой...»	52
Ботинки Маяковского	53
«В эпоху такого размаха...»	54
Четверо	55
«Солнечные батареи и большие поэты...»	56
Духовые оркестры	57
Мои товарищи	59

Памяти поэта Михаила Кульчицкого

Просьбы	60
Декабрь 41-го года	61
Голос друга	61
«Высоко он голову носил...»	62
«Одни верны России потому-то...»	63
Псевдонимы	65
«Прогревели как звук, и ударили в уши...»	66
«В поэзии есть ангелы и люди...»	67

<i>Изыщная словесность</i>	68
<i>«Поэты подбирают, как ходока...»</i>	69
<i>«Поэзия — оклик, реже — окрик...»</i>	70
<i>«Я думал: живопись мне не освоить...»</i>	71
<i>«Поэт растет не как дерево...»</i>	72
<i>«Начинается длинная, как мировая война...»</i>	73
<i>Юбилей</i>	74
<i>Холсты Акопа Коджояна</i>	76
<i>«Ответственные повествования...»</i>	78
<i>«Читатель превзошел писателя...»</i>	79
<i>Песня для старика</i>	80
<i>«Когда откажутся от колеса...»</i>	81
<i>«Следует ли выступать в кафе...»</i>	82
<i>«Сапер ошибается только раз...»</i>	83
<i>Слова, слова</i>	84
<i>«Кувшин — старейший символ формы...»</i>	86

III

<i>Рейд</i>	89
<i>Кропотово</i>	91
<i>Роман Толстого</i>	92
<i>Казахи под Можайском</i>	94
<i>Переправа : :</i>	96
<i>Мой комбат Назаров</i>	98
<i>Замполит . :</i>	100
<i>Высвобождение</i>	101
<i>Двести метров</i>	102
<i>Что хорошо кончается</i>	103
<i>День Победы в Альпах</i>	104
<i>Маршал Толбухин</i>	106
<i>Девятого мая 1945 года</i>	108
<i>Мирная армия</i>	109

<i>«Ракетчики, подводники, танкисты...»</i>	110
<i>Подводная лодка №...</i>	111
<i>Искра</i>	112
<i>Майор запаса</i>	113
<i>Военные тайны</i>	114

IV

<i>«Слышу шелест крыл судьбы...»</i>	117
<i>Двадцатый век</i>	118
<i>«Тот возраст, когда мне пальто покупали на вырост...»</i>	119
<i>Большие цифры</i>	120
<i>«У времени вечный завод...»</i>	121
<i>Отрочество</i>	122
<i>Восемнадцать лет</i>	124
<i>«А я не отвернулся от народа...»</i>	125
<i>«Интеллигенция была моим народом...»</i>	126
<i>Уважение</i>	127
<i>Высокомерие</i>	128
<i>«Где-то струсил. Когда — не помню...»</i>	129
<i>Излет</i>	130
<i>«Теперь Освенцим часто снится мне...»</i>	132
<i>«Отягощенный родственными чувствами...»</i>	134
<i>Березка в Освенциме</i>	135
<i>«Старческая горечь, опоздай!..»</i>	137
<i>Работаю : :</i>	138
<i>«Я был оригинал. С меня писали...»</i>	140
<i>«Я ждал не указания...»</i>	141
<i>Радость и горе</i>	142
<i>Польза похвалы</i>	143
<i>Счастье</i>	144
<i>«Столица нашей Родины — Москва...»</i>	145
<i>«Скамейка на десятом этаже...»</i>	146

<i>«Охватывало странное веселье...»</i>	147
<i>«Образовался недосып...»</i>	148
<i>«На стремительном перегоне...»</i>	149
<i>Состояние здоровья</i>	: 150
<i>«Как прочитанный том заставляют...»</i>	151
<i>«Как будто в гору сутки лез...»</i>	152
<i>Ночь</i>	: 153
<i>«Мне кажется, когда протянут шнур...»</i>	154

Уважаемые читатели!

Присылайте ваши отзывы о содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении книги, а также пожелания автору и издательству.

Пишите по адресу: Москва, А-30, Сущевская, 21. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», массовый отдел.

Слуцкий Борис Абрамович

СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИИ, новая книга стихов. М., «Молодая гвардия», 1969.

160 стр. с фотопортретом автора

P2

Редактор *В. Сякин*

Художник *А. Финогенов*

Художественный редактор *Н. Печникова*

Технический редактор *Н. Михайловская*

Сдано в набор 2/X 1968 г. Подп. к печ. 10/IX 1969 г. А09444. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 2. Печ. л. 5 (усл. 7) + 1 вкл. Уч.-изд. л. 4,2. Тираж 50 000 экз. Цена 42 коп. Т. П. 1969 г., № 337. Заказ 1854.

Тип. изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва, А-30, Сущевская, 21.

42 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ